

Улья Нова

Аранжировка. Оранжерея

Оперетта

1.

Телефон снова трезвонил на всю квартиру. Настырно. Бессовестно. Уже минут десять. А чего к нему кидаться, по городскому давным-давно никто не звонит, только реклама и всякие соцопросы. Снова молчали в трубку. Слушали ее голос. Они всегда так делают: названивают, потом вызываяще молчат. Выжидают, что она скажет. Чем ответит на тишину. Эти его бабочки. Шоколадницы и белянки. Невесомые студентки музыкального училища. Хрупкие молоденькие преподавательницы вокала. Призрачные на вид пианистки и флейтистки. Воплощения его неумолимой тяги ко всему, что легко ломается. Неугасимая потребность его души в трепетном. Валентина это понимала, она уже смирилась и не придавала значения: что поделать, эти создания, рассыпающиеся в пыль и пыльцу, от силы — на месяц, на два красоты и жалости. Она давно перестала замечать его вечные поиски хрупкости и всякие мимолетные похождения.

Хуже было другое: Валентина чувствовала себя запертой. Однажды она поняла и остолбенела: приехали, здравствуй, жизнь. Сама не заметила, как так получилось. Но вдруг угадала себя в тесной клетке. Не в золотой, какое там золото, — в обычной ржавой клетке, с вечно невымытым полом. Она была заперта, у нее не было выхода. Прозревшая Валентина застыла прямо посреди кухни, с полотенцем в руке. Стальные прутья надежно ограничивали ее свободу. Теперь нужно только жить, с чем уж есть, медленно перемещаться из одного дня в другой. Это тягостное и недоброе открытие поразило ее: теперь лишь время способно что-нибудь поменять. А жизнь так и будет биться в четырех стенах, по клеточкам плана трехкомнатной квартиры со старыми, оставшимися еще от тетки шкафами.

Гостиную занимала музыкальная студия, а также библиотека, кабинет и комната молитв Соломона. Святая святых, куда он строго-настрого запрещал заходить. Никого не пускал, только старшего сына, и то редко, во время субботних молитв. Но Валентина, конечно, туда не раз врвалась. Без разрешения мыла полы, расхаживала вдоль стеллажа с книгами. Рассматривала партитуры. Обметала пыль с нот. И даже, запыхавшаяся, разрумяненная от беспорядка, хозяйственно протирала мокрой тряпкой ворчливые бока синтезаторов, усилителей и колонок. Прекрасно помня, что Соломон под страхом развода запрещал ей к ним прикасаться. Валентине нравился второй вход в его комнату. Закрытый

шелковой занавеской, этот тайный подъезд или запасной выход как будто вел в чулан, а может быть на террасу с мутными стеклами и дачным тюлем. Ну и что, если на самом деле внутри этого узкого шкафа-выхода таились свитки молитв. Не удивительно, что Соломон так часто запирался у себя в комнате, у него ведь там были свои сокровенные двери: клавиши, молитвы, воображаемые террасы. На самом-то деле, ему мало что было по-настоящему нужно, кроме музыки, книг и порывистого общения с Богом.

Зато у нее была кухня. Такая просторная, настоящий ипподром. Здесь можно было танцевать. С большим окном, без балкона. С длинным обеденным столом и четырьмя деревянными стульями. И Валентина часто здесь пританцовывала. А еще на кухне сохранился единственный в доме телевизор, по которому она иногда смотрела передачи про театр, трансляции спектаклей и оперетт. Когда-то она мечтала петь в оперетте. Думала, что именно так все сложится после музучилища. Но незаметно, совершенно неожиданно, Валентина оказалась в трехкомнатной квартире на окраине города. Зато она часто напевала на кухне.

Каждый раз, когда Валентина снова чувствовала себя в ржавой и тесной клетке с птичьего рынка, от нее ничего не оставалось, кроме уязвленной пустоты. Она терзалась усталостью. Вдруг вся умолкала. Ходила по дому босая, растрепанная, в мятой юбке до пят. Как будто потеряла гребенку и никак не может найти.

Соломон всегда чувствовал это ее затухание. Сразу замечал: опять перестала светиться. Даже волосы у нее в такие дни становились жухлыми, будто осенняя трава. Куда-то девалась улыбка. Переставала трещать без умолку. Больше не пересказывала с горящими глазами эти свои спектакли. И его музыка тоже вдруг прекращалась. Будто где-то на чердаке запыхавшиеся рабочие нечаянно перерезали кабель. Все останавливалось, заминалось на паузе, прямо посреди аккорда. Музыка больше не приходила, потому что в ночном небе, в темноте, в неизвестности, где рождаются звуки и блестящими бусинами выстраиваются их сочетания, музыка слепла и больше не находила свет, на который надо было к нему лететь. Музыка больше не находила Соломона в толпе, спешащей к метро. Среди шестиэтажных коробок, рассыпанных кое-как в пространстве зимней пустоты. Среди скамеек и клумб, футбольных ворот и хозяйственных магазинов. Работа Соломона замирала, но время-то летело, время-то, как зверь, мчалось, сроки снова поджимали. Аванс был давно и благополучно растрочен. На куриные котлеты, макароны, починку стиральной машины и тренировочный костюм для младшего. Соломон врал, что с аранжировкой все просто отлично. И другому заказчику тоже врал, что саундтрек почти готов. А ничего не было готово. Только тишина, гнетущая недовольная тишина поселялась в доме. Валентина снова занимала у соседки-учительницы до сентября. А он срывался, по любому поводу кричал на всю квартиру, чтобы не беспокоили. И ненавидел себя за это потом целый день. Стыдно, но он как школьник даже отключал городской телефон, чтобы не отвлекали. Он запирался, вытаскивал свиток торы и читал, читал. Но, к сожалению, в его жизни Бог и музыка существовали раздельно. Никак не пересекались,

никогда не были связаны. В случае Соломона Бог на музыку совсем не влиял, все его ангелы, его стражи порядка, все его войска крылатых блюстителей морали за целую жизнь не прислали Соломону ни единой ноты, ни горсточку пауз, ни одного скрипичного ключа. Только благородную, душеспасительную тишину. Только равновесие и благопристойность. Ни звука, ни ветерка, ни намек на священное беспокойство музыки Бог ему ни разу не выдал. Тишь. Бестрепетность. Строгость. Бесхлебица. Вот такой результат молитв. А музыка существовала где-то отдельно. Его капризная музыка была самовольной. В этом была большая драма жизни Соломона. Его несчастье. Его головная боль.

Если Валентина вдруг затухала и истощалась, Соломон первым это чувствовал. Еще бы не заметить, ведь свет отключался. Это было слишком. Это был конец, рождение настоящей трагедии. И тишины. Поэтому, когда она становилась пустой и переставала светиться, Соломон освобождал субботу от любых дел и молитв. Он никогда не выяснял, в чем дело, что у нее стряслось. Он не прислушивался к тишине. И не спрашивал себя, почему не приходят ноты. Стараясь избежать мучительных недель бездарности, надевал потрепанный, прилично изношенный костюм. Велел ей скорее собираться. Красивое, говорил он, надень сегодня самое красивое. И скорее вез Валентину к большому прохладному озеру. Они гуляли там по берегу, по тропинкам, по шатким мосткам. Заглядывали в небеса, взявшись за руки. Вдыхали заплаканную озерную сырость, замирали среди деревьев, приглядывали за редкими озерными рыбаками. Они гуляли вокруг озера часами. Пили горячий чай из термоса. Моросил дождь. Тогда они раскрывали зонтик с обломанной спицей, прятались под ним и целовались.

Кричали озерные чайки. Школьники собирали красные листья кленов на берегу. Небо становилось то пасмурным, то снова прояснялось. Озеро вдруг распахивалось будто глаз, доверчиво вглядываясь в горы облаков. И в какой-то момент Валя-Валентина, забывшись, начинала напевать. Она неторопливо шла по тропинке, с букетом трав, с косынкой в руке, и вдруг начинала что-то мурлыкать себе под нос. И щебетать. И приплясывать. Он любил эти широкие теплые бедра, которые плавно раскачиваются в шерстяной юбке. Он всегда чувствовал, как она включается, как ее нить накаляется снова и вот, возникает свет. И ее улыбка. И бархатный голос, который самую простую вещь говорит неторопливо и торжественно, будто читает стихи со сцены. Или рассказывает сказки. Ее свет загорался, и его музыка снова знала, куда лететь. Заказчики аранжировок, саундтреков и звуковых дорожек оставались довольны. Каждый день приносил свои маленькие радости и маленькие слезы. Каждая ночь скрывала маленькие преступления и маленькие чудеса. И жизнь продолжалась, шла своим чередом.

Но потом однажды наступал вторник с таким низким свинцовым небом, что нечем становилось дышать. И она снова чувствовала себя в клетке, не в золотой, а в обычной будничной клетке. В ржавой клетке с птичьего рынка. В тесной клетке для кролика. Денег не хватило на крем, потому что она купила пучок петрушки и лимоны. В доме закончился чай. Тогда в субботу он скорее вез ее в лес, гулять

по тропинкам под скрип старых сосен и шепот далекой кукушки. Искать ломкие розоватые сыроежки на пригорке. Долго идти по дну лесного оврага, чавкающего илом под резиновыми сапогами. Кормить ее на солнечном пригорке изо рта в рот набухшей спелой земляникой, чувствуя полуденный июньский жар разгоряченных сосновых игл. Искать в траве ее любимые мятые лисички. И лежать вдвоем на поляне. Пока она снова не запоет. Пока она не начнет светиться. Чтобы музыка сумела найти его в темноте, в толпе, вытекающей из метро, среди рассыпанного по пустому пространству человеческого жилья, нагромождения многоэтажных коробок, в каждом окне которого притаился кто-нибудь неимущий, страждущий и ждущий даров.

2.

В то лето совсем не случилось дождей, круглые сутки город истязала жара под сорок. Все высохло. Нечем было дышать. Зато время двигалось, и жизнь потихоньку менялась куда-то. Старший сын Марк поступал в университет, на физ-фак. А младший вдруг разболелся ангиной, завалил школьный экзамен по биологии и теперь неохотно готовился к пересдаче.

В то лето Валентина так устала, что по вечерам у нее ломило пальцы, всю ночь тягостная боль цвета свинца бродила по суставам, наливалась злым бутонем в пояснице, оставляя в локтях и коленях ядовитый скрежет. Все валилось из рук. Столько чашек она не разбила, наверное, за всю жизнь. И еще уронила две старые тарелки, оставшиеся еще от тетки. А новые тарелки не на что было купить.

Соломон тем летом стал совсем темным. Он и сам это чувствовал. Он и сам был себе невыносим. Они с Валентиной редко виделись и почти не разговаривали. Он подолгу пропадал по разным своим делам. Искал заказы, находил заказы, переживал, если заказы снова срывались. Городской телефон трезвонил, в трубке молчали его бабочки. А когда Соломон бывал дома, они целыми днями молчали. Зато за все лето случился всего один черный день, у него увели из-под носа мюзикл, финальные сцены поручили другому композитору, моложе, современнее. Соломон целую неделю после неудачи старался быть спокойным. Он утверждал, что случилось объективное. Он признался, что даже рад, ведь так хорошо и правильно. Но потом, вечером, он все никак не мог найти свою любимую кружку из Хайфы, даже с раздражением отпихнул ногой кота. А потом он еще наорал на Марка. Что нечего вести себя так, будто ты пуп земли. Что когда сидишь на кухне, не раздвигай колени в своих дурацких штанах. Ведь жизнь еще тебе места не выдала, будь скромнее, твои экзамены как землетрясение, все лето трясет. Потом дверь грохнула, он заперся в кабинете и не выходил, наверное, двое суток.

«Валя-Валентина, что с тобой теперь?» — напевала она у окна. Ты сидишь в клетке, у тебя нет денег на новые босоножки. Завтра тебе привезут мешок картошки, которую ты зачем-то заказала по телефону. Где его поставить, ты знаешь? В углу, за холодильником разве он уместится? Как же душно, совсем нечем дышать, надо было лучше купить вентилятор. Сегодня снова надо ходить на цы-

почках, нельзя оскорблять его слух звяканьем крышек и звоном ложек, но когда же наконец придет мастер чинить вытяжку? Вот и вся оперетта вечера четверга.

И все же Соломон учуял, разглядел своим чутким оком, которое не в силах были затуманить ни пыльца бабочки-скрипачки, ни сорвавшийся мюзикл, ни выпускные экзамены в музучилище, где он до сих пор преподавал аранжировку. Соломон уловил: что-то Валентина опять угасла. Она не то что больше не светится, она совершенно засыпана землей, почернела, увяла, как никогда. Соломон опомнился, даже нашел свою кружку из Хайфы, сделал всем тосты и заставил младшего мыть посуду. «Завтра будет суббота», — сказал он через плечо Валентине. И эхом добавил: «Завтра поведу тебя в ботсад, царица». Он пробормотал это так великодушно, благородно и доблестно, как будто пообещал свозить ее наконец на Средиземное море. И она озарилась: завтра! Завтра!

Рано утром светило солнце и лучи пробивали плотные коричневые гардины их спальни. Валентина вдруг решила достать из коробки, из дальнего угла кладовки свой старый костюмчик: оранжевую юбку в кофейную клеточку и вязаную оранжевую кофточку с коротенькими рукавами и рядком наивных желтых пуговиц, верхняя из которых всегда норовила выпрыгнуть из петли.

Когда-то давно она купила по отдельности: сначала юбку, потом кофточку. Несмотря на повышенную стипендию, для нее тогда это было дорого. Очень. Эти вещи (чистый хлопок, между прочим) когда-то казались ей милыми, немного старомодными. Как будто бабушка, поддавшись щедрости, вдруг вытащила их из комода и отдала, и подарила ей. Валентина обрадовалась, потому что наряд вдруг сложился в костюмчик. Она носила его часто, чувствуя себя оранжевой принцессой, апельсиновой фрейлиной. Когда-то она была счастливой в этом костюмчике. Она была беззаботной. Только сольфеджио ее беспокоило, а сессия намечалась еще нескоро, где-то за горизонтом. После занятий можно было до изнеможения бродить по улицам. Шагать по городу его тайной влюбленной зрительницей, разглядывать витрины, балконы и чердаки, слушать шум проспекта и воркование голубей, есть мороженое в вафельном стаканчике. Кстати, ни одну из своих бабушек Валентина не знала. При знакомстве она всегда представлялась: я — Валентина, дочь неизвестного моряка. Ее мать старела в небольшом поселке под Северодвинском. А тетка Семеновна, у которой Валентина жила с детства, доверяла племяннице и никогда не спрашивала, почему задержалась у подруги, почему пришла из училища так поздно. Было так хорошо в то оранжевое время.

А после свадьбы и рождения Марка Валентина перестала носить свой студенческий костюмчик. Он вдруг показался ей устаревшим. Каким-то грустным. Поблекшим, будто сухая апельсиновая корка. Однажды она убрала его подальше, так советовала тетка — в коробку, в кладовку, пусть лежит. Ты что, миллионерша?! Никогда не выбрасывай хорошие вещи и не отдавай людям. Вдруг пригодятся. Вдруг снова войдут в моду. Мы еще не знаем, какая жизнь будет. Так обычно ворчала Семеновна. Сегодня Валентина вспомнила тетку и сразу захотела надеть кофточку и юбку своих студенческих лет. Она вытащила коробку на середину

спальни. Отыскала свернутые, лежалые, пахнувшие застоявшимся временем, немного чужие и ничьи оранжевые вещи. Нетерпеливо скинула халат и натянула, и все же сумела кое-как застегнуть пуговицы. Чуть-чуть расходилось на груди и на бедрах. Но ведь и времени прошло сколько? Она давно не была девушкой-тростинкой, мечтавшей петь в оперетте. Валентина застыла перед зеркалом, нерешительно поглаживая себя по бедрам. Ну, ничего: кофточка чуть растянется, юбка немного обвиснет, как-нибудь споятся снова. Соломон нетерпеливо вызывал ее из коридора. «Пора, пошли!»

3.

Когда музыка затихала, Соломон становился уязвимым. Это было осложнением настигшей его тишины. Воспоминания тут же врываются, как самовольные снаряды. Шарообразные вспышки дней, наполненные светом и цветом, контузили его щемящей и щиплющей тоской. Которая плескалась между Соломоном и прошлым, переливалась, размывала детали, нарушала их достоверность. Сквозь обеспокоенную толщу времен высвечивался какой-нибудь обычный, упущенный момент, который теперь казался намного значительнее и ярче всего вокруг. И вдруг превосходил все последние дни, оставляя горечь от простого и нехитрого сопоставления. Тишина. Беззвучие. И еще это солоноватое сожаление от того, что жизнь истончается, что со временем все мельчает.

Вот и сегодня, за рулем, по пути в ботанический сад, в него вдруг ворвался полдень перед грозой, когда он еще не отстриг волосы. В тот год он даже в мороз разгуливал без шапки, с вечно чуть влажными кудрями до плеч. Весной он бегал по городу, приходилось экономить и считать даже поездки на метро и в трамваях. Его единственные приличные штаны, серые джинсы, болтались на бедрах. Он донашивал коричневые ботинки старшего брата, уехавшего в экспедицию. А морщинистый портфель для нот ему подарила на память вдова профессора консерватории, известного скрипача. Но с консерваторией пришлось расстаться, уже третий год он преподавал аранжировку выпускникам музучилища. В тот день Соломон злился, его прямо трясло от возмущения по дороге на занятие. Он-то был уверен, что по этой сумеречной лестнице на третий этаж, в угловую аудиторию ему придется взбираться до лета, ну от силы еще два года. А вот мать уверяла, что он заблуждается, что за такое хорошее место надо держаться. Что такую работу нужно ценить. И его трясло от мысли, что музучилище затянется надолго. Что между ним и музыкой всегда будут обшарпанные коридоры и пыльные лестницы. И лица, лица. Так оно и случилось в итоге, именно так, по прямой.

Был первый урок семестра, вводное занятие. Он опоздал всего на минуту, вбежал в аудиторию, зато его уже ждали. Три группы в полном составе. Первое занятие редко кто прогуливал. И тут же этот шум, кашель, смешки, шепот, шарканье. Устремленные в его сторону лица, серые и бледные в свете предгрозового неба и запыленных окон. Белокурые головки на тоненьких шеях. Коротко остриженные певчие кочаны, врастающие в плечи. Кудри, хвосты и косички. Голубые



K.
2021

рубашки, белые блузки, синие пиджаки. Запахи бега, цветочных духов, капусты, ног, песка, голода. Он сразу, слету заметил бледную ломкую бабочку в первом ряду, рядом с грузной бесцветной подругой. И метким ловким взглядом уловил вторую, рыжую павлиноглазку — возле окна. Мелькнуло воспоминание из детства: брат учил его подкрадываться к бабочке и ловить сложенными молитвенными ладонями. Он снова почувствовал шелест ломких испуганных крыльев в горсти. И снова эта головокружительная начальная пауза первого занятия. На-

стороженное, выжидающее молчание трех выпускных групп. Одна дребезжащая струной секунда. И тогда, в третьем ряду, среди серых и синих фигур он увидел светящееся лицо. И почувствовал этот мягкий, теплый, обволакивающий свет. Как будто хлеб светился. Насмешливые глаза, изучающие нового преподавателя с напускным вниманием и какой-то даже задиристой жалостью. И музыка была здесь. Музыка летела на этот свет. Соломон сразу это почувствовал. После свадьбы мать не разговаривала с ним два года. Или чуть больше. Или чуть меньше, какая разница. Теперь все его племянницы уверены, что лучший форшмак в семье делает Валентина. Со временем многое забывается, растворяется, рассыпается. Остается только свет. И еще музыка. А иногда — тоска.

Валентина хорошо помнила это первое, вводное занятие по аранжировке. Он стоял у доски и монотонно, будто молитву, бледным изможденным голосом твердил введение: как переключать мелодию с одного инструмента на другой. Сейчас всплывали отдельные слова: гармонизация, инструментовка, оркестровка. Она ничего толком не поняла. Но ей тогда сразу понравилась эта идея перевода музыки с болтовни фортепиано на тихий и вдумчивый разговор, скажем, трубы. Она еще подумала: какой же смешной и забавный растяпа. Худой, запыхавшийся, с впалыми щеками. Он показался недотрогой. И еще эти его заношенные брюки с пузырями на коленях. Такие нелепые старые ботинки со сбитыми мысами. И перепутанные, мягкие на вид кудри. Его захотелось по-детски пощекотать и хоть немножечко рассмешить.

Из-за костюмчика в ботаническом саду Валентина почувствовала себя слишком броской на фоне кустов и деревьев. Все цветы в тот день оказались с ней в споре, в каком-то неявном, негласном соперничестве цвета и цветения. Среди клумб и тропинок она подумала: а жизнь-то начинает осторожно указывать, приучает к твоему месту, каждая травинка безмолвно, но настойчиво напоминает, кто ты такая, сколько тебе лет, что ты не сделала, на что ты никогда уже не решишься, и как много из начатого ты все никак не можешь закончить.

К этому времени ирисы уже отцвели и облетели. На лужайке от цветков остались голые зеленые стебли и усталые серповидные листья. А редкие робкие розы только начали распускаться. Валентина вдруг сдалась своей бесконечной усталости среди этих цветов, каждый из которых так ярко горел, проявлялся, спешил развернуться и при этом был строго-настрога мимолетен. Каждый цветок — неумолимый секундомер отведенного ему времени. Валентина показала себе пустой, она медленно шла рядом с Соломоном среди грядок огорода пряностей. У нее внутри тлела вялость. Кажется, к этому дню ничего не осталось, все ее цветы отцвели. В старом студенческом костюмчике она показала себе смешной, неуместной, одетой не по возрасту, одним словом — пугалом среди стриженных кустов и раскидистых дубов ботсада. Всеми силами старалась подделать беспечную и счастливую улыбку, чтобы скрыть горечь и раздражение. А когда Соломон вдруг нетерпеливо и досадливо спросил: «Что с тобой? Что опять не так? Почему ты молчишь и скучаешь?» Валентина одними губами прошептала: «Потому

что не жизнь, а другая какая-то боль». И отвернулась. И правильно сделала, ведь лицо ее в этот момент было темным, безрадостным, даже суровым.

В дальнем углу пальмового павильона вместо двери висел какой-то плотный потный целлофан. На ощупь его широкие ленты оказались теплыми, почти горячими. «Нам сюда, царица», — загадочно прошептал Соломон. И они вошли в буйный тропический сад, в огромную стеклянную коробочку, до отказа набитую неистовыми растениями. Под треугольной крышей огромной теплицы играло солнце. Ниже извивались лианы и тянулись к небу финиковые пальмы с веерами листьев. Воздух казался тяжелым, до головокружения горячим. Валентина, будто забытых знакомых, вдруг узнала: фикусы, орхидеи, фуксии.

«Смотри-ка, «пижамка» хлорофитум, — она прикоснулась к острому полосатому листу, будто приветствуя старого приятеля, — помнишь, Сэм, у нас жил такой на кухне. Марк забыл его поливать, пока мы гостили у Сони. А это плющ. Такой был у тетки, а куда он делся потом, я не знаю».

Но Соломон не слышал, что она там мурлычет себе под нос. Он смотрел в другую сторону, забыв обо всем на свете. Среди листвы и ленивых змеевидных лиан неуловимо порхали с ветки на ветку две неброские бабочки. Призрачные, серо-синие, будто в спешке покрашенные тенями для век. Сам не осознавая, он заворуженно двинулся к ним. На языке крутилось: бабочки — цветы, сорванные ветром. Он не помнил, откуда это. Честно говоря, он и себя не совсем помнил в этот момент.

Валентина чуть сморщила нос и подумала: вот, опять в нем играет знакомая тяга к ломкой, тонкой, трепетной красоте. К уязвимым хрупким существам, которые ненадолго. Она осторожно отступила от него на шаг, потом незаметно сделала еще один шаг в сторону. Но Соломон ничего не заметил. Он заворуженно следил за большой синей бочкой. Когда она, чуть успокоившись, опускалась на ветку, а потом медленно и плавно складывала крылья, с их подкладки на него смотрел внимательный совиный глаз. Со стороны казалось, что Соломон ослеп и оглох ко всему вокруг. Еще несколько фиолетовых и голубых бабочек устремились к нему со всех сторон, будто дождавшись наконец своего изумленного наблюдателя. Почувствовав, как самозабвенно он изучает красно-бело-черные крылья, торжественный и траурный наряд какой-то там геликонии, Валентина тихонько и невесомо двинулась вглубь оранжереи. Неслышно шла по гравию тропинки, мимо пальм и лиан, находила в зарослях цветущие орхидеи, двигалась на неуловимый плеск воды: среди ветвей ей мерещился искусственный водопад и небольшой тропический пруд. И скоро она действительно оказалась на мостике, среди фикусов и плюща, сквозь листья которых пробивались пряди лучей. Вспыхивающие тут и там бабочки ее не радовали. Хрупкие веера крыльев, взбивающие тяжелый горячий воздух, терзали ее скоротечностью. Нерукотворной наивностью жизни. Из-за них она снова почувствовала усталость. Оранжевый костюмчик в тропической духоте показался ей совсем тесным. Валентина пожалела, что поддавалась утреннему капризу и все-таки надела одичавшие вещи из прошлого.

К тому же старые босоножки натерли ей ноги. Облокотившись о перила мостка, она рассматривала розовых карпов с облезлыми золотыми боками. Полусонные рыбы неторопливо и смиренно скользили в своем темном омуте. Вдруг почувствовала их запертыми. Сразу же захотелось домой, сегодняшняя прогулка не принесла облегчения и оказалась тягостной. Именно в этот момент Валентина услышала песню. Юную пронзительную песню, которая отчаянно и резко вдруг зазвучала и полетела над оранжереей. Кто-то изо всех сил насвистывал, заливался, выводил над тропическим лесом алые узоры. Кто-то исполнял арию, звонко и непреклонно разрушая тишину и ленивый горячий шум разморенных тропиков.

Она встрепелась и скорее стала искать, кто же это такой поет, даже встала на цыпочки, вытянула шею, и вся вытянулась в тростинку, в давно забытую тоненькую доверчивую ниточку. Всматривалась в направлении песни. И наконец нашла, увидела его на перекладине, под крышей, среди листьев и лучей. Это был маленький, ярко-оранжевый, как будто даже светящийся кенар. Пламенный, храбрый, дерзкий на вид, он тоже весь вытянулся на тоненьких лапках, весь сжался от напряжения в оранжевый кулачок и старательно, отчаянно насвистывал свою одинокую призывную песню. Пел звонко. Пел неистово. Изо всех сил сердца. И в то же время исполнял свою партию искусно, нежно, оперетчно.

Валентина притаилась, заглянула наверх: что там делается под стеклянной крышей. Она переждала еще некоторое время и наконец убедилась: нет, больше здесь нет ни одной птицы, никто не отзывается, певец совсем один в своем стеклянном саду. Он тоже притих, переждал некоторое время, прислушался к шуму и плеску Дома Бабочек. Никто не ответил ему, никто не отозвался. И тогда кенар запел снова, его песня надежды, песня-призыв, узорчатая и легкая, как фата, брачная песня летела над лианами и мерцающими в листьях синими бабочками, летела над бабушкой и внучкой, склонившимися над прудом, наблюдающими там карпов. И над Соломоном с его задумчивым лицом, который старательно и самозабвенно ловил в объектив старого фотоаппарата призрачную и невесомую бабочку-сову.

Валентина прикрыла глаза и слушала, слушала, как кенар свистит песню среди лиан и листьев. В сиянии лучей сквозь стеклянную крышу, в оранжевой кофточке и клетчатой юбке, она вдруг узнала себя двадцатилетней, смеющейся и светящейся, как никогда легкой. Она вспомнила свои трудные уроки сольфеджио, разгадала мотив и музыкальные фразы. Расправила плечи. И тоже тихонько просвистела, подхватила мелодию кенара, осторожно отозвалась ему эхом. Птичка на перекладине насторожилась, внимательно выслушивая ответ. Тогда Валентина отозвалась еще раз, громко и нежно пропела, просвистела песню-ответ, песню-согласие, песню-надежду, оранжевую песню своих двадцати беспечных и растрепанных лет.

Юноша кенар вспыхнул оранжевым пламенем. А Валентина ответила снова. Она просвистела оранжевую трель с алыми орнаментами. Отозвалась арией великой птичьей оперетты. Игриво и в то же время старательно воспроизвела все

рисунки и трели: «И тогда я сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да».

Кенар потерял покой от долгожданной песни-ответа. Юноша задрожал и устремился на звуки песни-согласия, наивно и отчаянно, сквозь ветви и листву — к ней, к ней. Беспокойный и доверчивый, как все влюбленные нетерпеливо полетел на огонь, издали различив оранжевое ее кофточки. Он почувствовал долгожданную подругу, узнал свою пламенную госпожу. И тут же пропел ей: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» А Валентина подхватила и пропела в ответ: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его».

Кенар порхал вокруг Валентины, маленькие оранжевые крылья вспыхивали, как пламя. Он спрашивал-свистел. И она снова отвечала: «Да любовь моя, я говорю да, я горю да, я горю оранжевым, я цвету тысячей лепестков календулы, я пою, я насвистываю тебе в ответ, я согласна». Птичка летала вокруг нее, выкрикивая лепестки щебета и огня, жалобный и доверчивый свист надежды, оранжевые трели любви. И Валентина выпустила голос из клетки, она тоже пела ему, она наконец пела в оперетте. Сегодня она была музыкой.

Соломон исподлобья наблюдал мелкую взволнованную птицу и Валентину, светящуюся посреди тропинки, под пальмами. Он сразу понял: это общая песня. И кажется, это была лучшая из песен мира. Он сразу угадал Оранжевый день, в который Валентина пришла такой опытной и сильной. Уже изведав время обнимать и время уклоняться от объятий. Уже догадываясь, когда следует молчать и когда — петь в ответ признание, дарить надежду. Сегодня, сейчас Валентина чувствовала взаимность, она была Оранжевой невестой. Она пела главную арию своей оперетты. И музыка летала вокруг нее на оранжевых крыльях.

Валентина выпустила голос. Она больше не была взаперти. Она пылала. Потому что большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. А Соломон наблюдал исподлобья и впервые в жизни по-настоящему ревновал. С непривычки он весь скрипел. Он даже не представлял, что ревность так безжалостно жжет, так режет осокой сердце. Потому что музыка была здесь, но это ведь была не его музыка. Музыка сегодня прилетела не к нему. Это была чужая пламенная аранжировка знакомого мотива, он все никак не мог угадать, какого именно. Потому что терзался от ревности и боли. И ничего не мог с этим поделать.

Улья Нова родилась в Москве. Окончила Литературный институт. Автор семи книг, в том числе магических московских романов «Инка» и «Собачий царь». Романы «Лазалки» и «Чувство моря» переведены на болгарский язык. Дипломант Одесской литературной премии им. Исаака Бабеля. Иронично определяет себя «наивный и изящный художник слова», «сказочница-анархист», «основательница литературной мастерской имени Ремедиос Прекрасной». Живет в Риге.